

Героические новеллы

А. ВОРОНСКИЙ

I. ИЗ СТАРЫХ ПИСЕМ

Удора, 11 февраля 1908 г.

Дорогой друг! Письмо мое передаст тебе товарищ Моисей. Человек он очень нам преданный, но застенчивый. Не забудь предложить ему чаю, хлеба, масла. От всего этого он вероятно откажется и будет тебя уверять, что «сыт по горло». Ты однако ему не верь, а разложи лучше свои съестные припасы: если он станет облизывать свои сухие и синие губы, причмокивать, сопеть, а глаза у него разгорятся адовым пламенем, или как у черной пантеры, наливай ему смело чаю, придвигай бутерброды, только не гляди на него, — притворись, что ты занят чем-нибудь, например, чтением моего письма. Очень застенчив, но и прожорлив, вернее застенчив от прожорливости. А впрочем, заслуживает полнейшего доверия.

Теперь о себе.

Скажу кратко: пришлось многое увидеть. В тюрьме под следствием просидел я восемь месяцев. Ничего веселого. Нужных книг, в особенности и в частности по любимой астрономии, достать не удалось, читал старые журналы, графа Салиаса и Лажечникова. Некоторое разнообразие вносила война с начальством. На второй день заключения от меня потребовали, чтобы я встал при проверке «во фронт» и гаркал дежурному помощнику: — Здравия желаю, ваше благородие. — От таких приветствий я наотрез отказался, требованию же вставать с нелегким сердцем подчинился, но и тут получилось недоразумение:

«во фронт» я встал утром в одних кальсонах. «Благородие» с рыжими усищами потащило меня в карцер, где мне очень не понравилось: было там темно, спал на голом полу, а питался, подобно анахорету, водой и черствым хлебом. Происходили и другие стычки, более мелкие, но о них рассказывать не стоит. Позор палачам!

В феврале отправили в ссылку на три года в Вологодскую губернию. До Вологды я ехал даже весело, потому что встретился с очень славными товарищами. В Вологде произошли осложнения. Жандармы до того обнаглели, что вызывают к себе в управление почти всех политических ссыльных по очереди, предлагают стать осведомителями, т. е., попросту говоря, провокаторами. Вызвали и меня. Принял меня ротмистр, скуластый, со сдавленными висками, с тяжелым обточенным подбородком, будто булыжник на мостовой. Сперва он пожалел меня и моих родителей, выражал сожаления, потом объяснил, что я могу загладить свою вину перед начальством, получить освобождение, если сделаю «души доверчивой признания» и буду «помогать».

— Подумайте серьёзно над моим предложением, — заключил готовый к услугам жандарм.

— Тут и думать нечего, — ответил я, нимало не смутившись. — Я согласен.

Ротмистр обрадовался. — Вы, — говорит, — с первого взгляда понравились мне. — У вас, — говорит, — есть в лице эдакое... открытое... простое.

Тут я его несколько охладил.

— Не знаю, — прервал я его изливания, — подойдут ли только мои условия? Меньше тысячи рублей за такую работу не возьму.

Голубой красавец даже опешил.

— То-есть как же это тысячу? У нас таких окладов даже министры не получают! Вы надо мной, милостивый государь, издеваетесь.

— Нисколько, — отвечивал я ему хладнокровно, — моя работа ничуть не хуже министерской. Очень тонкая работа.

— Вон! — заорал жандарм. — Я вас в тюрьме сгною!

— Как хотите. Слово мое твердо. Подумайте над моим предложением.

Действительно, меня стали гноить в тюрьме. Товарищей по пересыльной камере давно отправили кого куда, а меня все держат и держат. Несколько раз я напоминал о себе, писал заявления — ни ответа, ни привета. Сижу неделю, другую, сижу третью. Новые партии прибывают, люди получают назначения, уходят, а меня маринуют. Тогда я решил о себе напомнить, сговорился с новоприбывшими, — среди них некоторые тоже застряли, — и устроили мы в одно утро такой дебош, что вчуже самим стало страшно. Был огромный грохот, били в стены, в двери досками от нар, чайниками, кружками, швабрами, табуретами, был свист, вопли, львиное рыкание, стенание, песнопения и концерты, от которых чадили и тухли горевшие еще с ночи лампы. Тюремное начальство вызвало пожарную команду. Вламывались в камеру с кишкой, поливали, точно мы горели. Мы долго не сдавались, и я забрался наверх печки, откуда тоже поливал царских опричников непотребными, скажу прямо, матерными словами. Меня тоже облили, стащили за ногу, хотя я и отбрыкивался и потрясал ногами. Позор палачам! В отместку и чтоб не повадно было тюремным сатрапам, я предложил устроить голый бунт, выражаясь иными словами, раздеться и пребывать в чем маменька родила. Предложение получило всеобщее одобрение, и мы на другой день при отправке отважно вышли в коридор в полнейшем неглиже, блистая кожей и своими естественными доспехами. Надзиратели и солдаты впали в умопомра-

чительное состояние, спешно вызвали начальника тюрьмы. Заглавный чербер долго от изумления ничего не мог сказать, любуясь нашим вполне райским видом, получив же дар слова, приказал одеться. На это от имени всех голых бунтарей я ответил, что не препояшем чресл своих, дондеже не отправят нас по назначению.

Мы стойко держались. Вызвали в контору, мы выходили голыми, нас возвращали обратно. Приходило проверять помощник, мы разгуливали по камерам, не утрачивая адамова от наружности. Мы ходили по коридору, сея соблазны. Мы жили жизнью дикарей, когда они не научились еще делать себе из листьев одежду. Тюрьма смеялась, хохотала, фривольничала, порядок то-и-дело нарушался, надзиратели и солдаты прикрывали ладошками себе рты, дабы скрыть смех. Ералаш возрастал. На второй день голого бунта вечером наш эдем посетил тюремный инспектор. Мы окружили его кольцом и при тусклом освещении были похожи на мрачных команчей, пленивших бледнолицего путешественника. Впереди всех стоял кавказец Михаладзе, обросший волосами подобно горилле и с такими отличительными признаками, что нервный блюститель тюремных благопристойностей сначала протер глаза, после вспотел и дальше не решался на него глядеть.

— Я понимаю, — увещевал он нас, успокоясь, — вы можете быть недовольными, но при чем же тут это... это... так сказать... голое безрасудство?

— А при том, — ответил я инспектору, — звонко похлопывая себя по бедрам, чтобы согреться, в то время как мой сосед во всей прелести выставлял ему свой зад, — а при том, что нам легче помереть от воспаления легких, от тифа, от чахотки, чем терпеть дальше разные над нами издевательства. Требуем отправить нас по местам ссылки.

В скором времени нас разослали. Меня назначали в Яренск, к зырянам.

В Вятке, собираясь ехать на Котлас, я повстречался со ссыльной Зиной. Она показалась мне роскошной женщиной. До Сольвычегодска мы ехали смиренно. Я поглядывал на ее темные локоны, на щеки, от которых шел эдакий мягкий и нежный жарок, — помогал носить вещи,

угощая чаем и бубликами, она показывала белые и сочные зубы. От Сольвычегодска, где, сказать кстати, до сих пор висит на соборной колокольне опальный вечевой колокол, будто псковский, дорога пошла трактом, мы поехали на подводах. Дни выпали теплые, полувесенние. От нечего делать мы часто перебрасывались снежками. Случилось, я слепил увесистый ком и угодил Зиночке прямо в лицо. Она на меня надулась. Меня даже оторопь взяла. Идем мы с ней сзади подвод, я прошу прощения, она закусила нижнюю губу, на меня не глядит, а мне еще больше хочется с ней помириться, изворачиваюсь и так и эдак, между прочим взял да и ляпнул: — Я, мол, Зиночка, готов хотя бы руку вам поцеловать, чтобы вы не сердились. — Она холодно мне отвечает: — Ваше дело, возьмите и поцелуйте. — Я взял ее руку и поцеловал. А она на меня не глядит и даже еще более сердитой сделалась. Я взял и поцеловал ей руку еще один раз, а может быть, и дважды. А она опять же на меня не глядит и даже еще более сердитой сделалась, голову совсем от меня воротит в сторону. Прошли мы еще несколько шагов в полном молчании, она и молвила: — Вы, — говорит, — должно быть, пентюх и никогда не целовали руки у женщины. Разве так целуют? Кто это научил вас прикладываться, точно к мощам?... ха... ха... ха...! — Тут я обиделся и ответил, что могу и по-другому. Она молчит и на меня не глядит. Вечером я попробовал по-другому, попробовал и на другой день, а тут еще ночи бездонные, млечный путь стелется серебряными туманами, стоят таежные неувядаемые леса, а сверху лесные мохнатые звезды, а позади угрюмые тюремные сны, вялые, безнадежные рассветы, точно пойманые вместе с тобой в неволю. И вот — все это пока отодвинулось. Надолго ли? Обругай меня, мой друг, за лирику.

Привело все это к тому, что в Яренске я предложил Зиночке поселиться вместе, на что и получил согласие, правда с некоторыми препирательствами, при чем она назвала меня почему-то глупым. Дело однако не обошлось без происшествий, но для порядка я расскажу тебе кратко о Яренске. Благословенный сей

град еле-еле насчитывает восемьсот жителей, окружен лесами, болотами и туманами. Имеет три улицы, жирно унавоженную площадь, одряхлевшую церковь, деревянные мостки и конечно полицейское правление с кутузкой. За последнее время в Яренск согнали около шестисот ссыльных. Живут они и в самом городишке, но больше по деревням. Я тоже поселился с Зиной в деревне Ландышево у старика кузнеца Тимохина. Тимохину исполнилось семьдесят три года, что отнюдь не мешало ему быть пьяным три-четыре раза в неделю. Когда он напивается, то заламывает ухарски шапку на затылок, хитро подмигивая, говорит: — Нужно пойти к девчонкам, — и действительно, идет пить чай к одной девчонке, своей племяннице. Этой девчонке ни много, ни мало лет шестьдесят пять. Ребята постоянно дразнят Тимохина этой девчонкой, и в трезвом виде он очень на них ругается. Иногда впрочем Тимохин к девчонкам не идет, а забирается на крышу и с крыши, потрясая кулаками, седыми лохмами и штанами с мотней, обличает прохожих и соседей в грехах, в проступках, в неправде, в жестокости, в себялюбии, в обмане, произносит вдохновенные проповеди и умнейшие поучения. Удивительно, что до сих пор он ни разу не сорвался и не разбился насмерть!..

Жилось нам у него за всем тем сносно, он даже нами гордился, поил темных хлебным пивом домашнего изготовления. Происшествие же было такое. Когда мы сходились, Зиночка призналась, что с одной из партий должен прибыть ее жених, эсер, студент Андреев. Скоро он, и вправду, приехал и имел свидание и разговор с Зиной. Зина пришла от него в слезах. Несколько дней спустя Андреев прислал записку, в ней он называл меня совратителем неопытных девиц, требовал удовлетворения, т.-е. вызывал на дуэль. На такую буржуазно-помещичью пошлость я ответил разумеется отказом. Тогда он в нетрезвом виде при встрече в лесу затеял дрянную ссору, кричал, что желает драться со мной на пистолетах (интересно, где бы их достали), назвал меня трусом и кинулся с кулаками. Произошла свалка, он попортил мне нос, я в свою очередь разодрал ему пиджак,

изуродовал верхнюю губу. Дело разбиралось колонией, Андреева осудили, но от всего этого и срамно и стыдно.

Позже жизнь наладилась. Подобрался свой кружок социал-демократов, большевиков. Был у нас Миша Лашевич из Одессы, вспыльчивый, но отходчивый веселчак и добрый приятель со смородиновыми глазами и с добродушным носом нашлепкой, был Вадим Подбельский из Тамбова, сын известного народовольца, спорщик и рассказчик, был Ровнер Аким из Николаева, матерой рабочий и умница, Костя Толмачев, костромич из боевиков, Ваня Фиолетов из Баку, вдумчивый и рассудительный товарищ, был застенчивый, похожий на красную девушку гимназист Кедрин, была милая учительница Маруся Савченко, Соня из Мелитополя, которую прозвали «Симбобоном», было еще немало приятелей и друзей, подруг и девушек. Помяни их всех добрым словом!.. По вечерам мы уходили в леса, жгли над рекой оранжевые костры из елок, можжевельника и сосен, пели песни, от них хотелось сделать что-нибудь богатyrское или обнимать при всех Зиначку (позор, позор), или сидеть в раздумье и глядеть молча на огонь, или шутить и смеяться до упаду. (Ругай за лирику!) Запевалой выступал Миша Лашевич, потому что у него был звонкий и высокий тенор; был он также первым плясать и устраивать дружеские вечеринки. Тоже и выпивали, случалось, спорили о течениях и направлениях, прыгали через костер, купались в речке, волочились за девушками, читали зарубежные органы, и до самого утра гам и веселье смешивались с пахучим дымом. Он вилял над нами сизый, с искрами, легко и свободно.

Осмотревшись и опочив на лоне семейного счастья, я выписал несколько книг и стал вникать в астрономию. Друг мой, до самозабвения люблю эту науку. Ничто так не возбуждает фантазии, не расширяет умственных границ, не приближает к космосу! Какую чудесную и, может быть, даже трагическую поэзию открывают эти черные бездны, где от века гаснут и возникают миры! Убежден, что при социализме все будут увлекаться астрономией и космогонией!..

В недолгом времени меня однако постигли новые невзгоды. За речонкой Кижмолою и селцом Борки, в лесу, у нас часто происходили массовки, читались доклады, спорили до полного обалдения и беспамятства. Собирались тут большевики, меньшевики, анархисты, синдикалисты, эсеры, максималисты, бундовцы, дашнаки и т. д. Полиция сперва прикидывалась, будто ничего не знает о наших сборищах, пока не приехал новый исправник. С его приездом наши собрания стали обкладывать стражниками и нас ловить. В ответ мы расставляли патрулей, сигнальщиков, но полиция, должно быть, располагала среди нас провокаторами: не успеем, бывало, собраться, а стражники тут как тут. Спасаясь однажды от ихнего налета, я не рассчитал и подался в сторону лесной топи. Полицейская свора прижала меня вплотную к болоту. Я храбро углубился в самую топь, скакал с одной кочки на другую, но оступился, завяз по пояс в грязи. Стражники тут-то и накрыли меня. Они гарцовали на конях, а я отсиживался в гнусном месте, одолеваемый комарами.

— Сдавайся! — орали они с берега.

— Не сдамся! — кричал я им, барахтаясь и погружаясь все глубже в грязь.

— Не сдамся, опричники, — продолжал я, прибавляя некоторые красные слова, от которых лошади вздрагивали и испуганно прядали ушами.

— А пожалуй, он, чего доброго, и потонет, — заявил философически один из стражников.

— И потону, — решительно подтверждал я пророчество курносого вонтеля, чувствуя однако, что достал твердого дна. — А вы будете в ответе за мою мрачную гибель.

Тогда двое стражников по приказу надзирателя разделись и вытащили меня из грязи, и, вытаскивая, один из них, якобы невзначай и незаметно, смазал меня в бок два кулачищем. Позор палачам! Вели меня по улицам города всего в тине, словно Берендея. Зрелище было назидательное, но не утешительное. Зиначка, увидев меня из окна, даже заплакала, но я ей крикнул, чтобы она не беспокоилась, так как бывает хуже. Посадили меня в кутузку, а затем

до срочному распоряжению губернатора перевели на полтора месяца в тюрьму. Должен тебе доложить, что сидеть летом в поганой уездной тюрьме за восемьсот верст от Вологды куда как не весело. Однако и здесь не обошлось без осложнений. В тюрьме подвернулся хороший дядька, и он когда за четвертак, когда за полтинник водил меня в баню, по дороге же мы заходили к Зиночке, иногда на час, иногда и на два. Исправник об этом пронюхал, дядьку выгнали со службы, меня же отправили в Вологду, где я и отсидел последние три недели.

Выпустили меня дня за два до отхода очередного парохода. На вольной волюшке меня осенило вдохновение, и я вместо того, чтобы отправиться в Яренск, уселся в поезд. Поезд благополучно дотащил меня до Москвы. Зиночке я написал письмо в том смысле, что мы скоро увидимся в столице и я спасу ее из мест отдаленных. Спасти ее не удалось. В Москве сразу не повезло. Некоторых друзей я не нашел, другие меня сторонились. На одной из ночевок произошел случай, т.-е., по просту говоря, не успел я раздеться и лечь, как к хозяину, рабочему-ткачу, ввалились гости в шпорах, в усищах, в голубых мундирах. Из них больше всего запомнился наган с черным дулом, направленный на меня громадным жандармцем. У ткача произвели обыск, а я попался ни за что ни про что, так себе, здорово живешь. Я вполне логично доказывал, будто произошла явная и печальная ошибка, вспомнул даже какую-то тетеньку, к которой я приехал из глухой провинции, назвал ее фамилию и где она живет. На вопрос, почему я нахожусь у ткача, разумно и обстоятельно объяснил, что снял у него угол, но не успел отметитья в участке. Все это я повторил и следовательно, будучи заключен в тюрьму (опять тюрьма, как тебе все это нравится?!). Следовательно спустя несколько дней после моих объяснений снова меня вызвал и, вызвав, в приподнятом настроении сказал:

— Много людей прошло через мои руки, но такого наглого и беспардонного лганья я давно не слышал. Никакая ваша тетенька в Москве не жила, и даже очень непонятно, на что

вы рассчитывали, сочиняя заведомые басни.

Я и сам почувствовал, что заврался, и в припадке искреннего раскаяния открыл чиновнику жгучую тайну, кто я есть таков. Выслушав исповедь горячего сердца и уличив меня в некоторых второстепенных отклонениях от правды, следовательно вновь сввергнул меня в тюремное узилище, заявив на прощание: — Хорош гусь! — на что я ответил ему примирительно и разъяснительно: — Бывают гуси и похуже. — В прославленных Бутырьках я отсидел затем пять недель, после чего этапным порядком меня погнали в Вологду, а из Вологды в Яренск. Когда я под'езжал к Яренску, сердце мое трепетало и жаждало заключить в неистовые объятия Зиночку, но, увы, мои надежды потерпели решительное крушение. Не выпуская из тюрьмы, исправник объявил, что по постановлению губернского правления мне надлежит прекратить свои странствия лишь в Удоре, месте печальном и несравненно более северном, чем сам Яренск. Зиночку я видел и обнимал лишь через решетку. Душа моя рвалась к ней, и я даже вдарил несколько раз с силой коленкой в деревянную перегородку, но она, проклятая, не подалась. Между остальным Зина сообщила, что я буду отцом семейства. От растерянности я ей сказал:

— Не может быть!

— Почему же не может быть, — ответила она, обидевшись. — Очень даже может быть.

Я больше ей не перечил, вспомнив кое-что, от чего действительное многое бывает. Меня отправили в Удору. Зина осталась сперва в Яренске: перевод ее ко мне требовал времени, да и не терял я еще надежды увидеться с ней в ином, более просвещенном и благодатном месте, чем тундра. Жизнь пришлось в избе, которая отапливалась по-черному. Из ссыльных я был пока один. Моим начальником являлся стражник, осипший от пьянства. Зыряне сначала меня боялись, а детишки при встречах удирали. Кормовые деньги высылались неисправно, и часто я еле-еле сводил концы с концами. Больше половины населения больны сифилисом, к чему люди относились с жутким равнодушием. Нравы про-

сты и непритязательны. Садись ты например для естественной надобности в уединенном месте, вдруг шага, — хозяйка. Женщина лет тридцати, нисколько не смущаясь, разделяет с тобой компанию и, облегчаясь, заводит мирную житейскую беседу. Так и сидим мы рядышком, ведем неторопливый разговор, созерцая небеса и лесное приволье. Ко всему однако привыкаешь.

Зина отправила мне книги, в том числе и по астрономии, но они затерялись где-то в дороге. Я серел от скуки, но еще больше от тоски. Меня угнетало, друг мой, эта нищая зырянская жизнь, жалкое крехоборчество в глухомани, в болезнях, в грязи, пришибленность, эти немые, покорные глаза, как у домашних животных, привыкших лишь к подъяремному труду, тупое смирение и беспросветность. Здесь я увидел, может быть, впервые, что миллионы людей, затерянных в наших необозримых глухих просторах, живут, движимые только одной потребностью добыть кусок хлеба, что все остальное в них прибито, придавлено. Какая убогая, страшная жизнь!

— Край родной долготерпенья, край ты русского народа!..

... Я не выдержал и, едва установился санный путь, совершил побег, выбрав время, когда мой стражник запил запоем. До Яренска довез меня один добрый зырянин, которому нужно было в городе кое-что продать и купить. Помняни его добрым словом! В Яренске я не совсем острожно остановился у Зиночки. К моему приезду она заметно пополнела, и я с некоторым странным чувством смотрел на ее живот, не зная — радоваться мне или печалиться; в то же время я испытывал и жалость и нежность. Неужели это и есть отцовский инстинкт?

Незадолго до побега Зиночка получила кой-какие деньги от родных, — я уговорил ее бежать. Мы бежали, но неудачно. О бегстве рано узнал исправник, снарядил за нами погону. Нас настигли, когда мы под'езжали уже к Котласу, на виду железной дороги. Можешь представить себе наше состояние! Ночь была лунная, и луна кралась за нами, освещая предательски со всех сторон. Она-то и выдала. Когда нас поймали, Зиночка от досады и горя даже

заплакала, а я бормотал ей в утешение, что бывает хуже. Урядник и стражник нам как бы даже сочувствовали, но, сочувствуя, сволокли все же к исправнику в Яренск. Я предстал пред его светлые и ясные очи. Он в бессилье даже не мог ругаться, а только развел руками.

— Прямо не знаю, что с вами делать? Неужто не можете уgomониться?

— Не могу, — сознался я вполне честосердечно. — Не могу, потому что мне ваша Удора сильно не нравится.

— Предписание губернатора, — ответил блюститель и отправил меня снова к месту назначения.

Ехал я «домой» с колокольцами и бубенцами, окруженный почетным эскортом в пять человек.

Итак опять я на Удоре. Положительный результат: Зиночка со мной, и мы с ней повенчались. Результат отрицательный: из Яренска сообщают друзья, будто исправник грозил упрятать меня еще подальше, не то в Тобольскую губернию, не то в Якутскую область с прибавлением срока ссылки. Позор палачам!

Недели две спустя после моего вынужденного прибытия сюда был доставлен Миша Лашевич. Из окна моей хатенки мы с Зиной иногда видим, как он, сдвинув темные брови и сморщив нос, с ожесточением вправляет ноги в лыжи, подбитые оленьей кожей, кидая кругом гневные взгляды. Кстати об этих гневных взглядах. Он нередко награждает ими и своих товарищей. И ругаться он умеет. Но тут на Удоре мы вполне убедились с Зиночкой, что для своих это у него «так себе»: наш Мишенька таит в своей груди много человеческого и сердечного и, когда «кроет», больше кажется сердчат на самого себя за свою «слабость». Бывает также необычайно слушать в нашем угле, когда он поет или насвистывает «Сомнения» Глинки: — Уймись, волнения страсти... Да, да... уймись, уймись, чорт вас возьми!

... Вот, дорогой мой друг, внешнее жизнеописание случившегося со мной за последние полтора года, как мы с тобой расстались. Пришлось многое увидеть и испытать. Моисей, который отдал тебе это письмо, свой срок в Яренске отбыл. Перед его от'ездом мне удалось пере-

править ему для тебя эту, надеюсь тобой полученную, зело широкую эпистолию. Помоги ему устроиться. Человек он непритязательный. Теперь моя и Миши Лашевича просьба. Нам нужно тридцать, тридцать пять рублей. С получением одежных денег этого нам хватит на побег. Я придумал один способ, удастся наверняка. Правда, Зиночке скоро родить, но, может быть, сумеем бежать до родов, а если не успеем, подождем, пока немного окрепнет наследник, этак недель до шести. Хочу наследника: поднимется мститель суровый и будет он нас посильней! Зиночка шлет тебе горячий привет и говорит, что ты ей,

судя по моим рассказам, очень мил. Не унывай, старина! Ты еще пользуешься успехом даже на расстоянии. Миша только-что «обложил» тебя: — Вот, говорит, подлецы: живут себе в столицах, есть еще такие, а впрочем передай ему скромный и горячий привет!

Давай твою руку!

Твой Виктор.

P. S. Пока-что вышли «Антидюринг» Энгельса. Нужен до зарезу. За книги по астрономии был бы также очень тебе признателен. Люблю астрономию больше всех наук.